

СТЕКЛЯННЫЙ ПАНЦИРЬ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА

ДОКТОР ПЁТР СОЙФЕР

Петр Сойфер

Стеклянный панцирь

«Автор»

2026

Сойфер П.

Стеклянный панцирь / П. Сойфер — «Автор», 2026

«Мой стеклянный мальчик», — нежно говорит мать, и восемнадцать лет Ян живёт так, словно его поместили под стекло. Каждое утро начинается с измерения температуры, каждый вечер — с подробного отчёта о прожитом дне. В кабинете отца, учителя биологии, на булавках застыли жуки: на них можно смотреть, но нельзя прикасаться. Своими у Яна остаются только живопись и странный дар слышать цвета. Поступив в Пражскую академию искусств, он впервые вырывается из-под опеки. Мансарда над старым кварталом, первая любовь, шумные мастерские, вечеринки, где краски звучат как целый оркестр. Но свобода оказывается слишком громкой. Однажды Ян чувствует, что кожа твердеет и становится хрупкой, как стекло, под ней разгорается огонь, а за стеной кто-то тихо отчитывается о каждом его шаге. Это история о том, как незаметно человек переходит границу между нормой и распадом. Читатель проходит этот путь вместе с героем и до последней страницы не может сказать, где кончается реальность.

© Сойфер П., 2026

© Автор, 2026

Петр Сойфер

Стеклянный панцирь

Доктор Пётр Сойфер
СТЕКЛЯННЫЙ ПАНЦИРЬ

Новелла

АКТ I
Меласса Брно

Глава 1

Колба

Термометр был старый, ртутный. Мама купила его ещё до того, как такие запретили продавать, и хранила в футляре из синего пластика, похожем на пенал для одной ручки. Электронным термометрам она не доверяла. Они пищали слишком быстро, раньше, чем тело успевало сказать правду. Ртутному требовалось семь минут.

В шесть сорок я садился на край кровати, расстёгивал две верхние пуговицы пижамы и зажимал под мышкой холодный стеклянный стержень. Первые секунды стекло казалось ледяным, потом теплело, и я переставал его чувствовать. Мама стояла в дверях — в сером халате, с ещё не собранными волосами, с тетрадью в клеёнчатой обложке и карандашом. Верхний свет она не включала, чтобы глаза привыкали к утру постепенно. За окном горел фонарь на углу Мергаутовой, и от него на потолке лежал жёлтый прямоугольник.

Мы молчали. Семь минут считались не разговором, а процедурой. Из кухни доносилось, как отец наливает воду в чайник, как щёлкает выключатель плиты, как он ставит на стол три чашки — всегда в одном порядке: свою, мамину, мою. Этажом ниже у пани Коларжовой заговорило радио, и сквозь перекрытие пробился голос диктора, читающего прогноз для Южной Моравии.

— Время, — сказала мама.

Я вынул термометр и протянул ей. Она поднесла его к окну и медленно повернула, ловя свет фонаря на тонкой серебряной нити.

— Тридцать шесть и шесть.

Карандаш прошуршал по бумаге. Тетрадь была далеко не первая. Прежние, начатые ещё в роддоме, лежали в нижнем ящике её письменного стола: семнадцать тетрадей, по одной на год, перетянутые аптечной резинкой. Однажды, лет в двенадцать, оставшись дома один, я вытащил тетрадь из середины стопки и открыл наугад. Март две тысячи четырнадцатого года. Тридцать шесть и семь, тридцать шесть и семь, тридцать семь и одна — и рядом, подчёркнуто дважды: «Горло? Не жаловался. Проверить вечером». Вечером было тридцать шесть и восемь. Ниже её почерком, чуть крупнее обычного: «Слава богу».

Того марта я не помнил. Его помнила тетрадь.

Мама закрыла её, положила карандаш в корешок и на секунду прижала ладонь к моему лбу. Ладонь была сухая и прохладная, пахла кремом для рук с ромашкой. Термометру она верила, но ладони — немного больше.

— Одевайся. Рубашку я повесила на стул.

Рубашка висела на спинке стула, выглаженная с вечера, и рядом на сиденье лежали сложенные носки. Так было, сколько я себя помнил. Мне исполнилось семнадцать, я учился в выпускном классе гимназии и умел гладить рубашки не хуже неё. Однажды я попробовал. Мама молча перегладила воротник, и больше мы к этому не возвращались.

На кухне пахло липовым чаем. Мама заваривала его каждое утро с октября по апрель, а цвет собирала сама в июне, в Лужанках, с дальних лип, подальше от дороги. В мою чашку она клала тонкий ломтик лимона.

Лимон был жёлтым, и он звенел. Негромко, как звенит ложечка, если тронуть ею край тонкого стакана, и звон этот держался, пока ломтик плавал на поверхности. Я слышал его каждое утро, сколько себя помнил, и давно перестал о нём рассказывать. В пять лет рассказывал. Мама засмеялась, поцеловала меня в макушку и назвала фантазёром. Отец промолчал, но посмотрел на меня поверх очков долгим внимательным взглядом. Так он смотрел на любое существо, не находившее себе места в определителе.

Отец уже сидел за столом, прямой, в отглаженной рубашке и вязаном жилете, и намазывал масло на рогалик ровным слоем, от края до края. Перед ним лежала сложенная пополам вчерашняя «Ровность». Газету он читал по вечерам, а утром только перекладывал её с места на место, будто проверяя, никуда ли она не делась.

— Шарф, — сказал он, не поднимая глаз.

— В прихожей.

— Сегодня ветер с севера.

Над кухонным комодом висела фотография в узкой чёрной рамке. На ней были восемь серых шаров, прижатых друг к другу внутри прозрачной оболочки, похожей на мыльный пузырь. В нижнем углу снимка стояли дата и номер, отпечатанные мелким шрифтом. В детстве я думал, что это лягушачья икра из отцовского учебника, и не понимал, зачем вешать её рядом с часами. Мама объяснила, когда мне было шесть. Меня сфотографировали через микроскоп на третий день, прежде чем вернуть внутрь неё. Восемь клеток. Она называла этот снимок «твой первый портрет» и протирала стекло рамки каждую субботу, вместе с остальными стёклами в доме.

О том, что было до снимка, у нас не говорили. Цифры просто существовали в доме, как существует число комнат: одиннадцать лет и шесть попыток. Мне было известно, что маме исполнился сорок один год, когда я родился. Ещё мне было известно, что в шкафу за зимними пальто стоит коробка, куда никто не заглядывает. Однажды я спросил о ней. Мама побледнела так, что отец встал из-за стола и вывел меня в коридор. Больше я не спрашивал.

Когда я болел, мама садилась на край кровати и гладила меня по волосам, медленно, от виска к затылку.

— Мой стеклянный мальчик, — говорила она.

В её голосе эти слова звучали нежнее всех остальных. Ничего, кроме нежности, я в них не слышал.

На холодильнике под магнитом в виде моравской вышивки висело расписание недели, расчерченное её почерком на клеточки. Понедельник: гимназия 8:00–14:35. Художественная школа 16:00–18:30. Дома 18:50. Вторник: гимназия 8:00–13:40. Дома 14:10. Пустые клеточки между пунктами были заполнены одним словом: «дома». В пятницу вечером стояло «семья», в субботу утром — «уборка», в воскресенье — «прогулка (Лужанки или Шпильберк)». Всё, что оставалось на неделе свободным от уроков, мама называла «окнами». Окон было немного, и каждое было вписано заранее.

— Химия сегодня, — сказала она, садясь напротив. — Ты повторил окислительно-восстановительные?

— Повторил.

— Уравнения?

— Мам.

Она улыбнулась и положила мне на тарелку второй рогалик, хотя я не просил. Я съел его. Потом надел куртку, обмотал шею шарфом и спустился по лестнице, пропахшей мастикой и

чужими обедами. На улице действительно дул северный ветер. Отец не ошибался в погоде, как не ошибался в названиях жуков.

До угла Мергаутовой было сорок два шага. На сорок втором я обернулся и поднял руку. В окне четвёртого этажа, за отражением неба, стоял мамин силуэт. Она махнула в ответ и осталась стоять. Так было каждое утро. Если я забывал обернуться, вечером она спрашивала, что случилось. Ничего не случалось. Я просто забывал, и после этого вопроса больше не забывал никогда.

Вечером, когда я вернулся из художественной школы — в шесть сорок девять, на минуту раньше расписания, — дверь отцовского кабинета была приоткрыта и в щели горел свет настольной лампы.

— Ян, — позвал отец. — Зайди.

Кабинет был самой маленькой комнатой в квартире и самой тесной. Вдоль стен от пола до потолка стояли застеклённые шкафы с плоскими ящиками, а в ящиках, под стеклянными крышками, на белых пенопластовых подложках сидели жуки. Отец собирал их сорок лет, с гимназии. Жужелицы, бронзовки, щелкуны, усачи, навозники, листоеды. Каждый стоял на своей булавке, в своём ряду, над своей этикеткой, исписанной отцовским бисерным почерком: латинское название, место, дата, «leg. M. Hus». В кабинете пахло нафталином, старой бумагой и ещё чем-то острым, похожим на лак для ногтей.

В первый раз отец привёл меня сюда, когда мне было шесть. Я помнил, как он выдвинул верхний ящик, снял с него крышку и отступил на шаг, давая мне место. Внутри лежали золотисто-зелёные жужелицы, двадцать штук в два ряда, и все они отливали металлом, медью, бутылочной зеленью, как будто кто-то вычеканил их из старых монет. Цвет у них был громкий. Он гудел низко и ровно, как орган в соборе Петрова, куда мама водила меня на Рождество, и от этого гула у меня зачесались ладони.

— Смотри, — сказал тогда отец. — Не трогай. Они очень хрупкие.

Я не тронул жука. Я тронул стекло крышки, поставленной им к стене, — просто положил на неё ладонь, потому что она была холодной, а ладони чесались. На стекле остался мутный отпечаток пятерни. Отец ничего не сказал. Он достал из кармана сложенный носовой платок, протёр стекло долгими круговыми движениями, пока отпечаток не исчез, и вернул крышку на место. Потом погасил лампу.

Теперь на его столе, под лупой на подвижной штанге, лежала пробковая дощечка. На ней, растянутый на булавках, был приколот большой чёрный жук с синеватым отливом по краю надкрылий. Отец работал пинцетом. Он не поднял головы, только чуть сдвинулся вбок, чтобы мне было видно.

— Жужелица фиолетовая, — сказал он. — Из буковой рощи за Бистрцем. Нашёл в субботу под камнем.

На краю стола стояла стеклянная банка с притёртой крышкой. На дне лежал слой ваты, и от неё тянуло тем самым острым запахом. Банка была пуста. Жук, нашедший себе в субботу место под камнем, провёл в ней ночь с субботы на воскресенье, а потом два дня лежал в коробке на влажном песке, чтобы снова стать мягким.

Я смотрел, как отец работает. Булавка входила в правое надкрылье, чуть ниже основания, и выходила снизу между средней и задней парой ног. Так прикалывают всех жуков, объяснял он когда-то: через правое, никогда через левое, чтобы по всей Европе коллекции были одинаковы. Теперь он расправлял ноги. Каждую лапку он отводил пинцетом в сторону и фиксировал двумя крест-накрест вбитыми булавками, отчего жук становился похож на маленький чертёж самого себя.

— Ноги надо расправить, пока не высохли, — сказал отец. — Потом не согнёшь. Сломается в суставах.

— А сам панцирь?

— Панцирь прочный. — Он наконец посмотрел на меня поверх очков. — Хитин выдерживает многое. Ломается всегда то, что между.

Он вернулся к работе. Лампа гудела. Я стоял за его плечом и слушал, как синеватый отлив по краю надкрылий звучит тонко и высоко, на одной ноте, будто кто-то провёл мокрым пальцем по ободку бокала. Мне хотелось протянуть руку и потрогать этот край. Мне было семнадцать лет.

— Через месяц высохнет, — сказал отец. — Тогда можно будет снять с дощечки и поставить в ящик. Смотри. Не трогай.

В половине десятого мама постучала в мою дверь — два коротких удара, означавших, что она всё равно войдёт, — и села на край кровати. Это называлось «поговорить перед сном». Я называл это про себя рапортом, хотя ни разу не произнёс этого слова вслух.

Встал в шесть сорок. Тридцать шесть и шесть. На завтрак рогалик с маслом, ещё один рогалик, чай. Химия — нормально, уравнения были те, что повторял. На большой перемене ел суп и кнелики с подливкой, подливку не доел. На физкультуре не потел, шарф надевал. В художественной школе рисовали гипсовую голову, Давида, в три четверти. Говорил с Томашем про химию и с пани Новотной про штриховку. Большие ни с кем. Домой пришёл в шесть сорок девять. Ничего не болит.

Мама слушала, кивая на каждой фразе, будто отмечала пункты в невидимой тетради. Иногда она переспрашивала: почему не доел, какой Томаш, Мареш или Бенеш, не было ли сквозняка в классе. Я отвечал. Потом она поправила одеяло, хотя оно лежало ровно, и поцеловала меня в лоб, задержав губы на секунду дольше обычного. Так она проверяла температуру во второй раз, не доставая термометра.

— Спи, — сказала она. — Завтра снова рано.

Об одном я не рассказал. На обороте листа с гипсовой головой, пока пани Новотна объясняла что-то у соседнего мольберта, я нарисовал другое. Не голову. Три косые линии, жёлтую и две чёрные, и между ними круг, не залитый ничем. Это был звон лимона в утренней чашке. Я не мог бы объяснить этого ни маме, ни пани Новотне, ни себе. Но когда линии легли на бумагу, звон, впервые за много лет, перестал быть только моим. Он стал вещью и лежал теперь в папке, между листами, свёрнутый лицом внутрь.

Мама вышла и прикрыла дверь, оставив узкую щель. Свет в коридоре погас. Через несколько минут я услышал, как скрипнула половица у порога и стихла. Мама стояла за дверью и слушала, как я дышу.

Я знал, как нужно дышать. Медленно, глубоко, с короткой паузой на выдохе — так дышат спящие. Этому я научился рано, раньше, чем научился читать. Я дышал так, пока половица не скрипнула снова и шаги не ушли по коридору в спальню.

На потолке лежал жёлтый прямоугольник фонаря с угла Мергаутовой. Он гудел едва слышно, на одной низкой ноте, как лампа в отцовском кабинете. Я лежал с открытыми глазами и слушал его, пока нота не стала частью тишины, а тишина — частью меня.

Глава 2

Геометрия застоя

Если бы кто-нибудь попросил меня нарисовать Брно, я нарисовал бы треугольник.

Вершина первая — наш дом на Черных Полях, четвёртый этаж, окна на Мергаутову. Вершина вторая — гимназия на улице Капитана Яроша, серое здание с высокими окнами и запахом мокрых курток в гардеробе. Вершина третья — художественная школа, два трамвайных перегона к центру. Стороны треугольника были вымерены шагами, остановками, минутами, и я знал их наизусть, как знают таблицу умножения: не вспоминая, а просто зная. Внутри треугольника лежали Лужанки.

Парк был старый, старше всех домов вокруг, с широкими аллеями и каштанами, ронявшими осенью плоды прямо на дорожки. По дороге из гимназии домой у меня было двенадцать минут на парк. Мама считала, что двенадцати минут достаточно, чтобы подышать воздухом, и недостаточно, чтобы простудиться. Я садился на одну и ту же скамейку у старого каштана, напротив детской площадки, и смотрел, как гуляют чужие люди. Иногда мимо проходили студенты с тубусами и папками для рисунков. Они смеялись громко и не оглядываясь. Я провожал их глазами, пока они не скрывались за поворотом аллеи, и потом ещё немного смотрел на поворот.

Через двенадцать минут я вставал и шёл домой.

В Брно время шло немного иначе, чем в других городах. Колокола собора на Петрове били полдень в одиннадцать. Об этом знал каждый школьник: в сороковые годы семнадцатого века, когда шведы осаждали город, их генерал поклялся отступить, если не возьмёт Брно до полудня. Кто-то из звонарей догадался ударить в колокол на час раньше. Шведы ушли. С тех пор прошло почти четыреста лет, а полдень в Брно так и остался в одиннадцать.

Мне нравилась эта история. Не победа, не хитрость звонаря — мне нравилось, что целый город однажды договорился жить на час позади и потом просто не стал ничего менять. Когда в одиннадцать над крышами плыл колокольный звон, а часы на стене класса показывали совсем не полдень, я чувствовал странное облегчение, как будто где-то существовала щель, куда можно было спрятаться от точного времени.

Звон Петрова был тёмно-лиловым и тяжёлым. Он оседал на крыши медленно, как пыль после того, как вытряхнули ковёр. Я никому об этом не говорил.

В нашем доме всё повторялось. По понедельникам на ужин был суп, по средам — рыба, по пятницам мама пекла пирог с повидлом. В субботу утром мы втроём делали уборку, и каждый отвечал за свои комнаты: отец — за кабинет и прихожую, мама — за кухню и спальню, я — за свою комнату и ванную. В воскресенье мы гуляли, по чётным неделям в Лужанках, по нечётным — на Шпильберке. Отец шёл немного впереди, заложив руки за спину. Мама держала меня под руку. Когда мне было пять, она держала меня за руку. Когда исполнилось двенадцать, перешла на локоть, и я долго не мог решить, свобода это или нет.

На Шпильберке мы всегда останавливались у одной и той же стены, откуда был виден весь город, и отец показывал рукой: вот Петров, вот ратуша, вот Черные Поля, вот наш дом. Найти наш дом с такого расстояния было невозможно. Но я каждый раз кивал. Мне казалось, что если я не найду его, то к следующему воскресенью его уже не окажется на месте.

Однажды, мне было тринадцать, отец изменил маршрут. Было воскресенье чётной недели, нам полагались Лужанки, но за завтраком он сложил «Ровность» пополам и сказал:

— Сегодня пойдём на Старое Брно. К Менделю.

Мама посмотрела на него так, будто он предложил поехать в Вену. Потом кивнула. Отец редко о чём-нибудь просил.

Августинский монастырь стоял на Мендловой площади, за трамвайным кольцом, — тяжёлый, кирпично-красный, с базиликой и длинной оградой. Мы прошли через ворота во двор, и отец остановился у прямоугольника земли, обложенного по краю камнем. На этом месте когда-то стояла теплица. Теперь от неё остался только фундамент, низкий, как бортик клумбы, а внутри росла трава, подстриженная ровнее, чем во всём остальном дворе.

— Здесь, — сказал отец.

Он рассказывал медленно, с паузами, как на уроке, когда ученики записывают. Монах по имени Грегор восемь лет выращивал в этом саду горох. Десятки тысяч растений. Он скрепчивал их, записывал, пересчитывал горошины — гладкие и морщинистые, жёлтые и зелёные, — и выводил из этих чисел законы, которых никто до него не видел. Отец показывал руками размеры грядок, и его ладони, обычно неподвижные, становились живыми.

— Самое трудное было не скрестить, — сказал он. — Самое трудное было получить чистую линию. Растение без единого отклонения, из поколения в поколение. Сажаешь — и заранее знаешь, что вырастет. Только с чистой линией можно работать.

— А если отклонение всё-таки появляется?

Отец подумал.

— Его убирают с грядки.

Он сказал это спокойно, без всякого выражения, как сказал бы, что вода кипит при ста градусах. Потом снял очки, протёр их краем шарфа и снова надел. Я смотрел на фундамент теплицы. Стекла в нём давно не было, но мне показалось, что над прямоугольником травы стоит прозрачный воздух, плотнее остального воздуха во дворе, и в этом воздухе тихо звенит что-то тонкое и высокое, как звенел лимон в утренней чашке.

В музее при монастыре висел портрет Менделя: полный человек в очках, с мягким круглым лицом и сложенными на животе руками. Он был похож на отца, хотя отец был худым. Я долго не мог понять, в чём сходство, и понял уже на улице. У обоих было одинаковое выражение глаз — так смотрят на то, что знают заранее.

Домой мы шли пешком. У трамвайной остановки отец вдруг положил руку мне на плечо, задержал её на секунду и убрал. Он почти никогда меня не трогал. Я шёл до самого дома, чувствуя на плече тяжесть его ладони, хотя её там давно не было.

В Праге я был дважды. В восемь лет и в одиннадцать.

Оба раза мы ехали поездом, ранним, в семь с минутами, и оба раза мама брала с собой термос с липовым чаем, бутерброды в фольге и запасные носки. Мне доставалось место у окна. Я прижимался лбом к стеклу и смотрел, как Моравия сменяется Высочиной: поля, перелески, мокрые станции с незнакомыми названиями, Гавличкув Брод, Колин, — и стекло медленно нагревалось под моим лбом. Мама время от времени трогала меня за плечо: не прислоняйся, оно грязное, там микробы. Я отодвигался на сантиметр, а через минуту снова прижимался.

Мир за стеклом двигался, а я сидел неподвижно. Мне нравилось это чувство. Всё проносилось мимо, ничто не могло меня задеть, и между мной и всем остальным была прозрачная холодная стенка толщиной в палец.

Прага оказалась шумной сразу, с перрона. Люди шли во все стороны одновременно, говорили на языках, которых я не понимал, тащили чемоданы на колёсиках, и колёсики гремели по плитке, как множество маленьких трамваев. Мама взяла меня за руку и не отпускала до самого вечера. Даже в Техническом музее, под самолётами, подвешенными к стеклянной крыше, она держала мою ладонь так крепко, что к обеду у меня на пальцах остались красные следы.

— Не отпускай руку, — повторяла она. — Здесь потеряешься — не найдёшься.

В первую поездку, по дороге от вокзала, я увидел башню. Она торчала над крышами вдалеке, серая и очень высокая, похожая на ракету, собранную из трёх труб. По её стволу вверх ползли чёрные фигурки. Сначала я подумал, что это рабочие, но фигурки были неправильные: слишком большие для людей на такой высоте и слишком толстые, с короткими согнутыми конечностями.

— Это младенцы, — сказал отец. — Скульптура. Их повесили там лет пятнадцать назад.

— Зачем?

— Художник так решил.

Мама потянула меня за руку.

— Не смотри. Это не искусство, это хулиганство.

Но я смотрел. Даже когда мы свернули за угол и башня скрылась, я продолжал её видеть. Позже, в поезде, я спросил у отца, есть ли у младенцев лица. Он ответил, что нет. Вместо лиц у них гладкие вдавленные пятна, похожие на щели, — так ему говорили, сам он близко не подходил. Я долго думал об этом, глядя в тёмное стекло, в котором отражался вагон, мама с

закрытыми глазами и я сам, наложенный поверх пробегающих фонарей. Ползти вверх, не видя куда. Ползти, потому что больше ничего не умеешь.

Во второй раз, в одиннадцать, я искал башню глазами весь день и не нашёл. Мы ходили по другим улицам. Вечером на обратном пути поезд долго стоял на какой-то станции, и в стекле, рядом с моим отражением, отразилась мама. Она смотрела на меня, а не в окно, и в её лице было что-то, чего я тогда не понял: облегчение человека, везущего домой хрупкую вещь целой.

Дома она первым делом поставила мне термометр. Тридцать шесть и шесть. Ниже, в тетради, её почерком: «Прага. Устал. Без последствий».

Телефон мне купили в пятнадцать, позже, чем всем в классе. Мама долго выбирала модель, читала отзывы, сравнивала, и в конце концов купила не самую новую, но с хорошей камерой и, как она сказала, «надёжную». В первый же вечер она села рядом со мной за кухонный стол и попросила телефон на минуту.

Минута растянулась на полчаса. Мама нажимала, читала, хмурилась, снова нажимала. Отец сидел напротив над тарелкой и молчал. Наконец она повернула ко мне экран своего телефона. На нём была карта Брно, серо-зелёная, с голубыми нитками рек, и посреди Черных Полей, на нашей улице, светилась маленькая синяя точка в белом ободке.

— Это ты, — сказала мама. — Видишь? Теперь я всегда буду знать, что с тобой всё в порядке.

Я смотрел на точку. Она чуть пульсировала, расходясь бледными кругами, как от камня, брошенного в воду. Я пошевелил рукой, и точка не сдвинулась. Встал, прошёл к холодильнику и обратно. Точка дрогнула и снова замерла.

— Ради безопасности, — сказала мама. — Ты же понимаешь. Мало ли что.

Я понимал. Отец поднял глаза от тарелки, посмотрел на маму, потом на меня и ничего не сказал.

С тех пор, возвращаясь из гимназии, я знал, что синяя точка движется по экрану маминого телефона вместе со мной. Вдоль улицы Капитана Яроша. По аллее Лужанок. Двенадцать минут на скамейке у старого каштана. Сорок два шага от угла до подъезда. Однажды трамвай встал на перекрёстке из-за аварии, и я опоздал на девять минут. Когда я открыл дверь, мама стояла в прихожей с телефоном в руке. Она ничего не спросила. Она видела, где я стоял все эти девять минут.

Постепенно я привык к точке. Она стала частью меня, как родинка на плече: о ней вспоминаешь только в зеркале. Иногда, лёжа в кровати перед сном, я представлял себе, как точка лежит сейчас на карте, неподвижная, в белом ободке, посреди спящего квартала, и как светится экран маминого телефона на тумбочке в соседней комнате.

В ту ночь, когда на маминой карте впервые загорелась моя точка, я засыпал долго. Комната была тёмной, только жёлтый прямоугольник фонаря лежал на потолке. Я уже не спал и ещё не спал, когда увидел жука.

Он лежал на спине на белой бумаге, большой, чёрный, с синеватым отливом по краю надкрылий. Шесть ног двигались в воздухе медленно и упорно, одна за другой, как вёсла лодки, перевернутой вверх дном. Он пытался перевернуться и не мог. Бумага под ним была гладкая, зацепиться было не за что. Я смотрел на него сверху, откуда-то с высоты, и хотел протянуть руку, чтобы помочь, но рука не двигалась. Ноги жука всё шевелились, шевелились, без звука, без всякой надежды и без всякой усталости.

Потом я уснул.

Утром, в шесть сорок, мама стояла в дверях с термометром. Тридцать шесть и шесть. Про жука я не помнил до самого вечера, а вечером вспомнил и не стал рассказывать. Рассказывать было нечего: просто сон, какие бывают у всех.

Побег в холст

Пани Новотна нашла рисунок через неделю.

В художественной школе работы не уносили домой. Их складывали в большие картонные папки с завязками, и папки стояли в шкафу у окна, по одной на каждого ученика, с фамилией на корешке. Раз в месяц пани Новотна перебирала их, вынимала лучшие листы и раскладывала на длинном столе, чтобы поговорить о каждом. В тот понедельник она вынула из моей папки гипсового Давида, повертела в руках и перевернула.

На обороте лежали три косые линии, жёлтая и две чёрные, и пустой круг между ними.

Она ничего не сказала при всех. Положила лист обратно лицом вниз, перешла к работам Томаша, похвалила его натюрморт с кувшином. Только когда урок кончился и все разошлись, она остановила меня у двери, коснувшись рукава.

— Задержись на минуту, Ян.

Пани Новотне было под шестьдесят. Она носила длинные вязаные кофты с растянутыми карманами, пахла табаком и скипидаром и говорила тихо, так что приходилось наклоняться к ней, чтобы расслышать. Ходили слухи, будто в молодости она выставлялась в Вене и жила с каким-то скульптором, но спросить об этом никто не решался. Она снова вынула мой лист, положила на стол лицом вверх и долго смотрела на него, склонив голову набок.

— Что это?

Я молчал. Объяснить было невозможно, а соврать не получалось.

— Хорошо, — сказала она. — Не говори. Это правильно, что не говоришь. Но кое-что я тебе принесу.

В следующий понедельник она принесла альбом. Толстый, тяжёлый, в потёртой суперобложке, на немецком языке, с её экслибрисом на форзаце. Альбом назывался «Пути к абстракции». Она завернула его в газету, перевязала бечёвкой и сунула мне в сумку, между учебником химии и тетрадью по истории.

— Верни, когда прочитаешь. Не торопись.

Домой я принёс его как контрабанду. Мама, разбирая вечером мою сумку, — она делала это каждый вечер, проверяя, не забыл ли я в ней яблоко или мокрую физкультурную форму, — развернула газету и полистала альбом.

— Это что?

— Пани Новотна дала. По истории искусства.

Она посмотрела на разворот с репродукцией: синие и красные пятна, чёрные дуги, треугольник, падающий куда-то вниз и вбок.

— Ребёнок нарисовал бы так же, — сказала она без злости, просто сообщая. И положила альбом на мой стол, поверх учебников.

В ту ночь я читал его до трёх часов, при свете телефона, под одеялом, как читают запрещённое. Немецкого я знал немного, гимназического, и продирался сквозь каждую фразу со словарём в том же телефоне. На сорок второй странице был Кандинский.

Там было написано, что он слышал цвета. Не в переносном смысле, не как поэт, а буквально: жёлтый звучал для него трубой, тёмно-синий — виолончелью, а красный, если его много, — ударами барабана. Однажды, ещё молодым юристом, он слушал в Москве «Лоэн-грину» и увидел все свои краски перед глазами, и после этого бросил право и уехал учиться живописи в Мюнхен.

Я перечитал абзац четыре раза. Потом выключил телефон и лежал в темноте, чувствуя, как под рёбрами медленно разворачивается что-то тёплое и огромное. Значит, это бывает. Значит, это бывает не только у меня.

Дальше, через несколько страниц, был Купка. Чех, из Опочно, в юности зарабатывавший на жизнь тем, что был медиумом на спиритических сеансах. Потом Вена, потом Париж. Картина называлась «Аморфа. Фуга в двух цветах»: красные и синие ленты сплетались и распле-

тались на белом поле, будто кто-то записал музыку, не зная нот. Под репродукцией мелким шрифтом стояло: Национальная галерея, Прага.

Я перечитал и эту подпись. Прага была в двух с половиной часах поезда. Там, на стене, висела настоящая картина, и её можно было увидеть не через стекло страницы, а живьём.

С того вечера я начал писать по-другому.

Дома это было невозможно: краски пахли, кисти нужно было мыть, а мама замечала любое пятно на рукаве. Поэтому я писал в художественной школе, в последний час занятий. Пани Новотна отпускала меня в кладовку с мольбертами и старыми подрамниками и ровно в половине седьмого стучала в дверь. Ни минутой позже. Расписания на нашем холодильнике она никогда не видела, но словно знала о нём.

Сначала я писал лимонный звон. Жёлтое на белом, тонкое, острое, похожее на трещину в стекле. Потом орган собора на Петрове — тяжёлые лиловые пласты, наползающие друг на друга. Потом отцовских жужелиц: не их самих, а гул медно-зелёного металла, низкий, ровный, гудящий изнутри. Холсты получались маленькие, на картоне, сорок на пятьдесят, больше в кладовке не помещалось. Я ставил их лицом к стене, за старые подрамники, и каждый раз, уходя, оглядывался, хорошо ли они спрятаны.

Никогда раньше у меня не было ничего своего. Комната была моей, но мама убирала её по субботам. Тетради были моими, но мама проверяла их по вечерам. Тело было моим, но его температура записывалась в чужую тетрадь. А здесь, за подрамниками, в пыльной кладовке, стояли двенадцать картонов, о которых не знал никто, кроме пани Новотны. И даже она не знала, что на них нарисовано. Она ни разу не спросила.

В ноябре она сказала, глядя не на меня, а в окно:

— Ты будешь поступать в Прагу.

Это не было вопросом.

— Мама хочет, чтобы я поступал в педагогический. Здесь. На изобразительное.

— Поступай и туда. — Она пожала плечами. — Одно другому не мешает. А в Академию подай для пробы. Посмотрим, что они скажут.

Слово «для пробы» оказалось волшебным. Вечером за ужином я сказал его маме, и мама, помолчав, кивнула. Для пробы — это было безопасно. Для пробы — это значило, что ничего не случится. Конечно, в Брно на педагогический, конечно, жить дома, конечно, потом учителем, как они с отцом. Но попробовать — почему нет. Это даже полезно, опыт.

— Я поеду с тобой, — сказала она.

Отец поднял глаза от тарелки, посмотрел на меня поверх очков тем же долгим взглядом, каким смотрел у фундамента менделеевской теплицы, и снова опустил голову.

В декабре я отправил в Академию папку. Двенадцать картонов из кладовки, сфотографированных при дневном свете, двадцать рисунков с натуры и короткое письмо о себе. Над письмом я сидел три вечера и в конце концов написал всего пять строк. О звоне я не написал ничего. В январе пришёл ответ: допущен ко второму туру. Три дня экзаменов в самой Академии, с понедельника по среду, в конце месяца.

Мама сняла комнату в пансионе в Голешовицах, в десяти минутах ходьбы от Академии. Она нашла его по отзывам, долго сравнивала, звонила хозяйке дважды, уточняя, есть ли в номере обогреватель и не сыро ли там зимой. Мы приехали в воскресенье вечером. Мама поставила мне термометр, пока хозяйка показывала ей, как включается бойлер. Тридцать шесть и семь. Она нахмурилась и до утра дважды трогала мой лоб.

В понедельник в восемь утра мы стояли у ворот. Академия оказалась длинным светлым зданием с высокими окнами и надписью над входом, за ним начинались голые деревья Стромовки. Во дворе курили абитуриенты с огромными папками. Одна девушка была обрита наголо и в рваных колготках, у парня рядом с ней в ухе висела английская булавка. Я стоял в куртке,

застёгнутой до горла, в шарфе, обмотанном маминой рукой, и держал папку перед собой, как щит.

— Я буду рядом, — сказала мама. — Напротив есть кафе. Если что — звони.

Она поцеловала меня в лоб, задержав губы, и я почувствовал, как несколько голов во дворе повернулись в нашу сторону.

Первый день был рисунок. Нас развели по мастерским, по двадцать человек, и в середине комнаты, на подиуме, укрытом серой тканью, сидела натурщица. Она была немолода, лет сорока пяти, с тяжёлыми руками и тяжёлыми бёдрами, и она была совершенно голая. Я никогда раньше не видел голой женщины, кроме как на репродукциях. Первые минуты я рисовал её колено, только колено, потому что не мог поднять глаза выше. Потом увидел внизу живота, над лобком, бледный горизонтальный шрам, ровный, как от линейки, и что-то во мне перестало стесняться. Шрам был настоящим. Она была настоящей. Я рисовал шесть часов и не заметил, как кончился день.

Когда я вышел, уже стемнело. Мама стояла у ворот. Она простояла там, как выяснилось, с половины пятого, потому что не знала, когда кончится экзамен, и боялась пропустить. Кафе закрылось в четыре. Руки у неё были ледяные.

Второй день была живопись. А после неё, около четырёх, я впервые попросил маму о том, о чём никогда не просил.

— Здесь недалеко Ветржни палац. Там Купка. Можно мы зайдём?

Она посмотрела на часы. Потом на меня. Потом снова на часы.

— Только недолго. Ты устал.

Ветржни палац был огромным, белым, с длинными коридорами и стеклянной стеной на первом этаже, в которой отражалась улица с трамваями. «Аморфа» висела в одном из залов наверху. Я знал, что она большая, — в альбоме был указан размер, — но не представлял себе, насколько. Два метра на два. Красные и синие ленты сплетались на белом поле, огромные, как реки на карте, и из них поднимался звук. Он был не похож ни на что, что я слышал прежде. Два голоса, высокий и низкий, догоняли друг друга, расходились, снова сходились, не сливаясь, и в этом расхождении было столько свободы, что у меня заболело в груди.

Я стоял перед ней, наверное, полчаса. Мама сидела на скамейке у стены зала и смотрела не на картину, а на меня. Когда я наконец обернулся, она встала, застегнула мне куртку, хотя в зале было тепло, и сказала:

— Пойдём. Тебе завтра рано.

На третий день было собеседование. Нас вызывали по одному в маленькую комнату, где за длинным столом сидели пятеро. Перед ними лежали мои картоны, все двенадцать, разложенные веером. Мужчина в центре, седой, с коротко стриженной бородой и в чёрном свитере, долго молчал, перебирая их. Потом поднял один, с лимонным звоном, — жёлтое на белом, тонкая трещина в стекле.

— Здесь есть звук, — сказал он. Не спросил, а сказал.

У меня пересохло во рту.

— Да.

Он кивнул, будто ждал именно этого ответа. Положил картон обратно, к остальным, и посмотрел на меня внимательно, без улыбки.

— Посмотрим, как вы переживёте Прагу, пан Гус, — сказал он. — Спасибо. Следующий.

Мама ждала у ворот. Мы шли к вокзалу пешком через весь центр, потому что поезд был только в семь, и она всю дорогу держала меня под руку. На Вацлавской площади она купила мне горячий трдельник с корицей, хотя никогда не покупала уличную еду. Я съел его, обжигая пальцы. Мама смотрела, как я ем, и почему-то улыбалась.

Дома, в тетради, она записала: «Прага, три дня. 36,7 / 36,6 / 36,6. Экзамены. Без последствий».

Письмо пришло в конце марта, в обычном белом конверте с синим логотипом в углу. Мама достала его из почтового ящика, положила на кухонный стол и ждала, пока я вернусь из гимназии. Конверт она не вскрыла. Но я видел, что его держали в руках долго: на уголке остался мягкий загиб, как от пальцев.

Я открыл его стоя, не снимая куртки. Прочитал два раза. Потом положил на стол текстом вверх.

Мама прочла, не беря в руки, наклонившись над столом. Выпрямилась. Пошла к плите, где грелся суп, и стала мешать его, хотя он не пригорал. Отец пришёл через двадцать минут. Он увидел письмо с порога, прочитал, тоже не беря в руки, снял очки, протёр их и снова надел.

Ужин прошёл в тишине. Слышно было, как тикают часы над комодом, рядом с моим первым портретом, и как этажом ниже у пани Коларжовой бормочет телевизор. Суп был понедельничный, гороховый. Ложки тихо звякали о тарелки. Звон был серый, тусклый, без всякого цвета.

— Ты же говорил — для пробы, — сказала мама наконец. Не мне, а куда-то в сторону, в стол.

Я молчал. Это было хуже, чем если бы она кричала. Крик можно было бы переждать, как пережидают грозу. Тишина не кончалась.

После ужина отец позвал меня в кабинет. Он не сел за стол, а встал у шкафа с жуками, спиной к стеклу, и я встал напротив. Лампа гудела.

— Условия, — сказал он. — Каждый вечер в девять звонишь матери. Не пишешь, а звонишь. Геолокацию не отключать. Каждые вторые выходные домой. Комнату найду я. У Бартоша из нашей гимназии тётка сдаёт мансарду на Жижкове, она женщина надёжная, у неё будет запасной ключ. Деньги будем переводить по понедельникам. Если оценки упадут или мать будет волноваться больше обычного — возвращаешься и поступаешь на педагогический. Понятно?

— Понятно.

— Согласен?

Я кивнул. Я согласился бы на что угодно. Отец смотрел на меня поверх очков. Потом снял их, и без них его глаза оказались неожиданно маленькими и беззащитными.

— Мать не спала одиннадцать лет, — сказал он тихо. — Потом ещё семнадцать. Помни об этом.

Он вышел, оставив меня одного в кабинете. Я стоял, глядя на ряды жуков за стеклом, на их правые надкрылья, пробитые булавками, и на этикетки: латынь, место, дата. Leg. M. Hus. Все они были на своих местах.

В мае я сдал матуриту. Пани Новотне я вернул альбом в последний день занятий. Она взяла его, повертела в руках и протянула обратно.

— Оставь себе. Мне он больше не нужен.

Лето прошло в обычном расписании, только мама стала чаще трогать мой лоб и дольше стоять в дверях по утрам. В конце сентября отец отвёз мой чемодан на вокзал на машине, а мы с мамой поехали на трамвае. Она держала меня под руку всю дорогу, через всю платформу, до самого вагона. У двери она поправила мне шарф, хотя было тепло, и сказала:

— Позвони, когда доедешь. Сразу.

Я занял место у окна. Поезд тронулся. Мама шла рядом с вагоном, сначала медленно, потом быстрее, потом остановилась у края платформы. Её лицо было за стеклом, совсем близко, бледное, с открытым ртом, будто она хотела что-то сказать и не успела. Потом стекло наполнилось отражением вагона, и в нём, поверх уплывающего вокзала, остался только я сам.

Я не прижимался лбом к стеклу. Я сидел прямо и смотрел, как Моравия уходит назад, и чувствовал под рёбрами то же тёплое и огромное, что в ту ночь над альбомом Кандинского. Тогда я не знал, как назвать это чувство. Не знал и теперь. В кармане куртки лежал телефон,

и где-то на маминой карте маленькая синяя точка в белом ободке медленно ползла на северо-запад.

АКТ II

Пражский водоворот

Глава 4

Мансарда над Жижковым

Маме я позвонил прямо с перрона, как обещал. Она ответила после первого гудка.

— Доехал?

— Доехал.

— Как ты? Не продуло в вагоне? Ты поел?

Вокруг гремели чемоданы, объявляли поезда на Будапешт и Дрезден, кто-то смеялся у меня за спиной, и я прижимал телефон к уху, закрыв другое ладонью, чтобы расслышать. Голос мамы был совсем рядом и в то же время невероятно далеко, будто доносился со дна колодца.

— Всё хорошо, мам. Я на трамвай.

— Девятка, — сказала она. — Не перепутай. До Липанской.

Она знала маршрут лучше меня. Вечерами, пока я собирал чемодан, она сидела над картой Праги в телефоне и прокладывала путь от вокзала до Жижкова, раз за разом, проверяя, не изменилось ли что-нибудь.

Девятка шла вверх по Сейфертовой, тяжело, со скрежетом на поворотах. За окнами тянулись дома с облупленными фасадами, и на каждом первом этаже — пивная, кебаб, пивная, вьетнамская лавка, снова пивная. На тротуарах стояли люди с кружками в руках, хотя было всего четыре часа дня. Я держал чемодан между коленями и смотрел на них, не отрываясь, и они казались мне существами из другой страны, о которой мне ничего не рассказывали.

Дом стоял на Борживоевой, в квартале от остановки. Пять этажей, серо-жёлтый фасад с лепными гирляндами над окнами, наполовину осыпавшимися. Тяжёлая дубовая дверь с латунной ручкой, отполированной до блеска тысячами ладоней. В подъезде пахло сыростью, кошками и чьим-то гуляшом.

Пани Дворжакова ждала меня на третьем этаже, у своей двери. Это была пожилая женщина, маленькая и прямая, в домашнем фартуке поверх тёмного платья, с седыми волосами, уложенными в тугий узел. На шее у неё на шнурке висели очки, а в руке звенела связка ключей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.